

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Р76

Дизайн серии *Алексея Родюшкина*

Составитель *Василий Доценко*

Предисловие *Бориса Соколова*

В оформлении переплета использована
картина Исаака Левитана (1860–1900) «Золотая осень» (1895),
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Р7 **Россия** глазами русских писателей / предисл. Б.В. Соколова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 384 с. — (Образ Отечества).

ISBN 978-5-17-162445-3

На протяжении нескольких веков русские писатели создавали в своих произведениях точный образ России. Они рассказывали о своей родине одновременно с восхищением и болью, верили в ее лучшее будущее. «Никто без России обойтись не может», — отмечал Иван Тургенев.

В настоящем сборнике нашими собеседниками станут А. Пушкин, А. Радищев, Н. Гоголь, Л. Толстой, А. Чехов, И. Шмелев, Д. Лихачев, А. Солженицын... Какой же предстает Россия со страниц их сочинений? Это страна одновременно и бунтующая и смиренная, и нищая и богатая и, конечно, поражающая красотой русской природы.

Мы посетим самые укромные уголки нашей родины, встретимся с ее народом, традициями, бытом, святынями, буднями и праздниками, пройдем по ее улочкам и увидим, в чем заключается широта русской души.

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-162445-3

© Д.С. Лихачев, наследники, 2024
© А.И. Солженицын, наследники, 2024
© Б.В. Соколов, предисловие, 2024
© Государственная Третьяковская галерея, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

«Нужно проездиться по России»

Русские писатели-классики рассказали о России одновременно с восхищением и болью. Они верили в ее лучшее будущее и критическим взором обзоредали суровое, порой неприглядное настоящее. И много ездили по России. «Солнце русской поэзии» Александр Пушкин, которому так и не дали покинуть пределы отечества, писал одновременно о презрении к нему и о категорическом неприятии пренебрежительных высказываний иностранцев о России.

Александр Радищев, путешествовавший между двумя российскими столицами и поплатившийся за описание этого путешествия тюрьмой и ссылкой в Сибирь, подметил, что терпеливый русский народ, когда дойдет до крайности, способен на невероятную жестокость.

Николай Гоголь смотрел на Россию горьким взглядом сатирика, верил, что вместо мертвых душ будут живые души, и оставил нам поразительный по лиризму монолог о Руси — птицептройке.

Николай Лесков, создавший бессмертные образы очарованного странника и подковавшего блоху мастера Левши, утверждал, что «жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России».

Иван Тургенев обессмертил красоту русской природы в «Записках охотника» и верил, что «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее обойтись не может».

Педагог и писатель Константин Ушинский, создатель оригинальной дидактической системы, убеждал учеников: «Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина».

Лев Толстой создал учение нового христианства, более известное как толстовство. И, по мнению Андрея Белого, «первые луч какого-то огромного религиозного действия осветил на мгновенье сквозь Толстого Россию».

Мысль Антона Чехова, посетившего самый край России — Сахалин, о том, что «природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие», не устарела и сегодня.

Первый русский нобелевский лауреат Иван Бунин признавался: «Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, /Тысячелетней рабской нищеты. /Но этот крест, но этот ковшик белый... /Смиренные, родимые черты!»

Дмитрий Мережковский был первым декадентом в русской литературе и Россию называл «чужбиной-родиной», еще не зная, что умереть ему предстоит на чужбине, вдали от Родины.

Иван Шмелев, как и Мережковский, окончивший свои дни во Франции, был уверен в том, что «придет срок — Россия меня примет!» И он, как и Бунин, как и Мережковский, вернулся в Россию — своими книгами.

Филолог Дмитрий Лихачев, которого называли совестью русской интеллигенции, судьбу России и русских видел в том, чтобы «обрести право и силу самим отвечать за свое настоящее, самим решать свою политику — и в области культуры, и в области экономики, и в области государственного права».

Наконец, Александр Солженицын, первый нобелевский лауреат, родившийся и выросший уже в Советской России, открывший миру архипелаг ГУЛАГ, всю жизнь думал об обустройстве России и, даже перенеся страдания на родине, верил в ее великое будущее.

Какой же образ России встает со страниц настоящей книги? Это страна одновременно и бунтующая, и смиренная, и нищая, и богатая тем, чего нет у других народов. Для русского — это единственная родина, которая принимает изгнанников, прощает оступившихся, у которой, может быть, не самое легкое настоящее, но которую непременно ждет светлое будущее и которая способна повести за собой человечество. И, конечно, Россия — это поэтичная русская природа, сохранившаяся, несмотря на натиск городов, и олицетворяющая то, что объединяет всех жителей страны.

Борис Соколов

Александр Пушкин

Письма

Н.Н. Пушкиной

18 мая 1836 г. Из Москвы в Петербург

Жена, мой ангел, хоть и спасибо за твое милое письмо, а все-таки я с тобою побранюсь: зачем тебе было писать: это мое последнее письмо, более не получишь. Ты меня хочешь принудить приехать к тебе прежде 26. Это не дело. Бог поможет, «Современник» и без меня выйдет. А ты без меня не родишь. Можешь ли ты из полученных денег дать Одоевскому 500? Нет? Ну, пусть меня дождутся — вот и все. Новое твое распоряжение, касательно твоих доходов, касается тебя, делай как хочешь; хоть, кажется, лучше иметь дело с Дмитрием Николаевичем, чем с Натальей Ивановной. Это я говорю только dans l'intérêt de M-r

Durier et M-me Sichler¹; а мне все равно. Твои петербургские новости ужасны. То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с ним. Я рад, что он вызывал Апрелева. — У нас убийство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэля и подвергается одному наказанию — а не смертной казни. Утопление Столыпина — ужас! неужто невозможно было ему помочь? У нас в Москве все слава богу смирно: бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступает за Киреева очень просто и очень умно: что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки? По мне драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед ваших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут. Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: *vous avez trompé*² и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать. Прощай, будьте здоровы. Целую тебя.

¹ В интересах мсье Дюрье и мадам Зихлер (*фр.*).

² Вы не оправдали (*фр.*).

П.Я. Вяземскому

27 мая 1826 г. Из Пскова в Петербург

Ты прав, любимец муз (см. примечания к выделенному курсивом ниже — «Литературно»), — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело. Должен ли я тебе что-нибудь или нет? отвечай. Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек, которого отослал я от себя за дурной тон и дурное поведение? *Пора бы нам отослать* и Булгарина, и «Благонамеренного», и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей-богу когда-нибудь примусь за журнал. Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала — он находка. Читал я в газетах, что *Lancelot* в Петербурге, черт ли в нем? читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овладей этим *Lancelot* (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда — при англичанах дурачим Василья Львовича; пред M-me de Staël заставляем Милорадовича отличаться в мазурке. Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Все это попадает в его журнал и печатается в Европе — это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паро-

вые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его *и спросишь с милою улыбкой*: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница.

27 мая

Прощай.
Думаю, что ты уже в Петербурге, и это письмо туда отправится. Грустно мне, что не прощусь с *Карамзиными* — бог знает, свидимся ли когда-нибудь. Я теперь во Пскове, и молодой доктор спьяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Незабавно умереть в Опоческом уезде.

П.Я. Чаадаеву

19 октября 1836 г. Из Петербурга в Москву

Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было

свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище.

Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Поспориw с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее

не будут раздувать. Читали ли вы 3-й № «Современника»? Статья «Вольтер» и «Джон Теннер» — мои, Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане?

Александр Радищев

Путешествие из Петербурга в Москву

ФРАГМЕНТЫ

Пешки

Сколь мне ни хотелось поспешать в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат — принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах, я, по похвальному об-

щему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подослала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья.

— Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара; — неужели и ты его употреблять не можешь?

— Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы.

— Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?

— Не все; но все господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеянной муки. — Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обзрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. — Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею;

пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на укус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. — Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, — но пред судию, не ведающим лицепрятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя по часту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громopodobным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошения... и пр. и пр. и пр.

Черная Грязь

Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властью господина